

ФЕМИНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Глыба и Сонечка,
Гений и женщина*

Ольга Липовская

Кабы раньше я знала,
Что так замужем плохо,
Расплела бы я косу русую,
Да сидела бы дома.

«Напилася я пьяна», русская народная песня.

Лев Толстой не любил детей, ни своих, ни чужих. Не любил он также свою жену, своих крестьян, Православную церковь, Господа Бога, Ивана Тургенева (правда, потом они помирились на старости лет). Особенно он не любил женщин, хотя и думал, что любил. Впрочем, не будем лукавить, женщин-то он любил, но КАК, вот в чем вопрос. Еще он любил лошадей, собак, охотиться, хорошо поесть, выпить (в молодости), сыграть в винт и в шахматы, а также побеседовать о литературе и о своем месте в нем.

«В сентябрьский день 1862 года, когда 18-летняя дочь кремлевского врача Сонечка Берс стала графиней Толстой, женой известного тогда уже русского писателя, она, разумеется, не предугадывала необычности своей судьбы. Она тогда не знала, да и не могла знать, что ей суждено и трудное и высокое назначение, что у нее есть *не только обязанности* перед настоящей жизнью своего мужа, *но и долг* перед будущими поколениями, перед культурой» (курсив мой — О.Л.). Такой вердикт вынесен Софье Андреевне Толстой во вступительной статье к двухтомному изданию ее дневников литературоведом С.А. Розановой, такую роль предписало ей общество. Короче, Сонечка попала.

Отсюда стартует ее долгая дорога долга, ответственности и душевных и физических страданий, закончившаяся под замерзшими окнами дома на станции Астапово, где Матерый Человечище (МЧ), Зеркало Русской Революции (ЗРР), Величайший Гуманист Всего Человечества (ВГВЧ) и Глыба закончил свое существование в ноябре 1910 года. Дорога длиной в 48 лет.

В кратком изложении все было примерно так. Еще до свадьбы жених, движимый *искренним* желанием полностью открыться своей будущей супруге,

дал ей прочесть свои дневники, откуда не ведавшая греха девушка, воспитанная по всем правилам приличия, узнала о бурной и полной страстей жизни своего ухажера. Она, в свою очередь, отказавшись дать свои дневники, предложила ему написанную ею повесть. Жених ее никак не откомментировал – писательство было его прерогативой. (Ее часто будут мучить потом ревнивые воспоминания о любовных откровениях мужа из его прошлой жизни).

Уже в ноябре этого же года в дневниках Софьи Андреевны появляется упоминание о первой беременности, и дальше беременности и роды следуют друг за другом с завидной регулярностью. О плотском удовлетворении от вирильной активности мужа не упоминается ни разу. Скорее наоборот: «Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно – у меня никакой, напротив» (26.09.1863). Беременности жены вызывают у него неприязненное чувство, и он всячески избегает ее, под предлогом занятий по хозяйству. Кормление детей часто доставляет ей боль, и она нанимает кормилицу, за что Левочка очень на нее сердится. Вообще, с первых же дней брака резкие охлаждения и суровость мужа, его импульсивность, смена настроений ежедневно держат молодую жену в напряжении.

От этой холодности, упреков и придирок у Софьи развивается и постоянно поддерживается низкая самооценка. «Левочку я боюсь. Он так стал часто замечать все, что во мне дурно. Я начинаю думать, что во мне очень мало хорошего». «У меня второй день лихорадка. Перед Левочкой чувствую себя как чумная собака. Но я не мешаю ему, потому что он сам не обращает на меня внимания», – пишет Соня еще в марте 1865 года. Левочке, впрочем, все еще не чужды человеческие слабости, и он флиртует с женой нового управляющего – Марией Ивановной – молодой и интересной нигилисткой. К супруге в этот период (1866 год) он «делается холоден ... до крайности».

Семейная жизнь идет своим чередом: Софья Андреевна нянчит и лечит болеющих по очереди и скопом, детей, занимается их обучением, шьет одежду и белье для всей семьи, следит за домом и хозяйством усадьбы (Левочка оказался к этому непригоден), ухаживает за больным мужем, следит за его диетой, переписывает рукописи (у Левочки плохой почерк), по несколько раз переписывает корректуры (Левочка очень придирчив, и правит корректуры многократно), решает все вопросы с издательствами и цензурой. Лев Николаевич пишет, мыслит, творит, ездит на охоту с любимыми собаками, травит зайцев, лисиц, бьет бекасов и вальдшнепов. Софья Андреевна просит мужа принять участие в воспитании детей, и это вызывает у него раздражение – «самая страстная мысль его о том, чтобы уйти от семьи», – выкрикивает он в гневе во время ссоры. Ее держит чувство долга: «Зачем я все-таки делаю все? Я не знаю; думаю, что так надо».

Сразу же после рождения самой младшей дочери Саши в 1884 году, МЧ резко поворачивается к христианству и становится ВГВЧ. Любопытно, что непосредственно этому событию предшествовала жестокая сцена: у Сони нача-

лись схватки, и она спустилась к нему с этим сообщением. Левочка был мрачен и зол (вероятно, приступ ревности, которые случались у него часто и, увы, без повода). На просьбы жены простить ее перед лицом возможной смерти от родов и уверения в своей невинности, «Он поглядел, вдруг повернув голову, пристально <на меня>, но ни одного доброго слова <...> не сказал. ... через час родилась Саша. Я отдала ее кормилице. Я не могла тогда кормить ребенка, когда Лев Николаевич вдруг сдал мне все дела, когда я сразу должна была нести и труд материнский, и труд мужской. Какое это было тяжелое время! И это был поворот к *христианству*! За это христианство – *мученичество*, конечно, приняла я, а не он» (Воспоминания, «Дневники», 18.06.1897).

Старшие сыновья – прошло 25 лет брака – живут своей мужской жизнью в Москве, некоторые из них, повторяя сценарий гусарской молодости отца. Софья Андреевна тоскует: «Думаю о старших мальчиках, как будто они отдалены ужасно, и мне это больно. Отчего отцам не *больно* бывает все, что касается детей. И за что женщинам и *эта* тяжесть в жизни? Только путает жизнь» (17.02.1885).

Описание жизни в дневниках Софьи Андреевны – ее собственной и Льва Николаевича, как и описание жизни ЗРР многочисленными биографами – чудовищно разнятся в оценке содержания, смысла, значимости труда обоих. Сама Софья Андреевна порой разделяет эти смыслы, и долг свой описывает как обыденность, а писательство мужа как нечто значительное, великое. Но постепенно назревает критический момент, переломная стадия в их отношениях.

В 1891 году в собрании сочинений Толстого была напечатана «Крейцеровая соната», и это ключевое событие в отношениях Сонечки и Глыбы. С этого момента она начинает понимать все больше и больше истинную натуру своего мужа: его непомерное тщеславие, ханжество, человеческую черствость и отсутствие реальной любви к людям и особенно к женщинам, к ней самой. «Не знаю, как и почему связали «Крейцерову сонату» с нашей замужней жизнью, но это факт, и <...> все пожалели меня. Да что искать в других – я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами» (12.02.1891). Этим произведением Глыба *сказал вслух*, то, что думал, то, что поверял до того своим дневникам. Между тем, именно она по его настоянию, едет в Петербург и добивается у Государя разрешения на публикацию «Крейцеровой сонаты». «И неверна «Крейцеровая соната» во всем, что касается женщин в ее молодых годах. У молодой женщины нет этой половой страсти, особенно у женщины рожаящей и кормящей. Ведь она женщина-то только в два года раз!» (23.03.1891).

Это произведение, насквозь пронизанное женоненавистничеством, особенно противоречиво выглядит на фоне «поворота к христианству». С этого поворота в доме стали появляться «темные» люди – так называет их Софья Андреевна, а порой и сам Матерый Человечище – последователи «учения Тол-

стого», молокане, духоборы, раскольники разных сортов и представители российской интеллигенции. Появляется и главный герой будущей развязки этой истории – Владимир Григорьевич Чертков, чертоподобное alter ego Гения. Их присутствие в доме Софья Андреевна не переносит, но вынуждена покорно сносить и обслуживать. Оно, это присутствие, является материальным воплощением ханжества Льва Николаевича. Вообще-то, Гений чаще ассоциировался у меня с другим известным классическим прообразом ханжества – мольеровским Тартюффом, а его поведение, морализаторская позиция – синдромом «подшитого алкоголика». Помнится, у Анны Ахматовой, в воспоминаниях Лидии Чуковской есть отсылка к характеристике МЧ одним из его крестьян: «мусорный был старикашка». Насильственно морочащий свою натуру – обжоры, сладострастника, ревнивца, любителя удовольствий – Гений, позволявший-таки себе всяческие слабости и поблажки, упорно натягивал вериги на все остальное человечество, особенно сурово истязая при этом самого близкого ему человека – Софью Андреевну.

В дневниковых записях с этого времени все чаще встречаются критические рассуждения о позиции Толстого, он постепенно перестает быть «Левочкой», и становится просто Л.Н., или Львом Николаевичем. «Лев Николаевич всегда и везде пишет и говорит о любви, о служении богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обедает, или идет вниз читать или на lawn-tennis. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за день идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей» (04.09.1897).

В феврале 1895 года умирает Ванечка, семилетний любимый сын Софьи Андреевны. В течение двух лет она не пишет дневника. После смерти любимого сына, в образовавшейся двухлетней лакуне дневниковых записей у Софьи Андреевны появляется духовная и творческая близость с композитором С.И. Танеевым. Это был лакомый кусок для ищущего оправдания своему ханжеству Глыбы. Он сурово плющил ее увлечение музыкой (она много играет на фортепиано, читает о музыке и композиторах), гневался на ее походы в концерты, мрачнел при визитах Танеева в дом, хулил музыку в целом на все корки. Софья Андреевна в эти годы именно в музыке нашла радость, отдохновение, утешение от тяжелой утраты сына, о чем много говорится в дневниках 1897-99 годов. Это был самый светлый период в ее совместной жизни с МЧ, и самое свободное состояние души. «А Льва Николаевича я развенчала как кумира» (08.06.1897).

Публикация «Крейцеровой сонаты» сняла запрет с табуированной темы сексуальных отношений Сонечки и Глыбы. Она все чаще задумывается над тем, что, собственно связывало ее мужа с нею. «Левочка необыкновенно мил, весел и ласков. И все это, увы! все *от одной и той же причины* (курсив мой – О.Л.). Если бы те, кто с благоговением читали «Крейцерову сонату», заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Левочка, и при одной которой он бывает весел и добр, – то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили! А я люблю его такого, нормального, слабого в привычках и доброго. Не надо быть животным, но не надо быть насильно тем проповедником истин, которых не вмещаешь в себе» (21.03.1891).

Заглянув в окно супружеской спальни через страницы ее дневника, мы видим горькую, удручающую картину физиологических отправления Великого Гуманиста, осуществляемых над женщиной, так и не познавшей, в сущности, радостей сексуальности. Картину, увы, не оригинальную: «...как бы физически он не отталкивал меня своими привычками неопрятности, *невоздержания в дурных наклонностях чисто физических*, мне достаточно было его богатого внутреннего содержания, чтобы всю жизнь любить его, а на остальное *закрывать глаза*» (02.10.1897). (Курсив мой – О.Л.). Только после удовлетворения плотской страсти Глыба испытывал добрые чувства к супруге. «Если б кто знал, как тяжелы вечные подъемы и попытки любви, которая, не получая другого удовлетворения, кроме плотского, болезненно изнашивается от этих подъемов...» (18.04.1892). «И все это *физическое*, и вот та тайна нашего разлада. Его страстность завладевает и мной, а я не хочу *этого*, я сентиментально мечтала и стремилась всю жизнь к отношениям идеальным, к общению всякому, но не *тому*» (27.07.1891). «Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где он говорит: *«Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни»*. Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж. День провела обычно: учила Мишу, возилась с Ванечкой. <...> Учила Сашу «Отче наш», переписывала мало» (14.12.1890). Вот это, без перехода обыденное описание традиционного женского сценария – вечная жертва на ложе любви, в семейной работе, в беспрестанном труде, без какой-либо благодарности и признания, заставляет задуматься над страшным феноменом: откуда такой разрыв, противоречие в восприятии Толстого обществом как фигуры гениальной, культурного гуру, и Софьи Андреевны как *просто жены*, теневой фигуры за постаментом гения?

Между тем и в поведении МЧ наблюдаются симптомы высвобождения, после того, как «сакральные истины» произнесены. Он все больше сближается с Чертковым, все дальше отходя от *зависимости* от своей жены. Он выбирает более привычную, более присущую ему позицию зависимости – *гомосоциальной* связи с миром мужских ценностей. «Свято место», не пустующее никогда, занимает господин черт – Чертков начинает играть все большую роль в жизни,

деяниях и устремлениях Гения. Гомосоциальность, обусловленная и выстроенная патриархатной культурой система отношений, в которой женщина, исходя из христианского учения, из Ветхого Завета, из институтов мужской власти, *практически не человек*, особенно близка нашему герою. В гомосоциальной схеме, в отличие от гомосексуальной, женщина присутствует, но как объект, как функция, отверстие для отправлений естественных потребностей, исключенная, однако, из всех остальных сфер – духовной, социальной, интеллектуальной. В этой патриархатной, повторяю, патриархатной, доминирующей культуре, титул гуманиста и спасителя «человечества» естественнейшим образом не включает в «человечество» женщину. Вот, батеньки, вам и ответ на то, как создаются «культурные гуру».

И Софья Андреевна осознает это, понимая также, что «женский сценарий» ее жизни отыгран, и будет отыгрываться до конца: «Муж мой мне не друг; он был временами, *и особенно в старости мне страстным любовником*. Но я с ним всю жизнь была одинока. Он не гуляет со мной, потому что любит в одиночестве обдумывать свое *писание*. Он не интересовался *моими* детьми – ему было это и трудно, и скучно. ... Я же покорно и молчаливо прожила с ним всю жизнь – ровную, спокойную, бессодержательную и *безличную*. ... Всякому своя судьба. Моя судьба была быть *служебным элементом* мужа-писателя» (25.07.1897). (Курсив мой - О.Л.). Обладая непомерным чувством ответственности, она в принципе не могла отказаться от исполнения женской судьбы, даже испытал глубочайшее разочарование в конце их совместной жизни. «Говорил сегодня Лев Ник., что идеал христианства есть безбрачие и полное целомудрие, <...> что кроме того, что человек животное, у него есть разум, <...> и человек должен быть одухотворен и не заботиться о продолжении рода человеческого. <...> И это было бы хорошо, если б Л.Н. был монах, аскет и жил бы в безбрачии. А между тем *по воле мужа* я от него родила шестнадцать раз: живых тринадцать детей и трех *неблагополучных*. (Курсив мой - О.Л.).

Окончательный выбор МЧ в пользу Черткова маркирует его *слабость и комплексы*, обозначаемые в патриархатной культуре как *регалии власти*. Лев Николаевич, судя по воспоминаниям людей, знавших его в молодости, был очень высокомерен, любил выделиться из окружения, казаться особенным. Он любил противоречить собеседникам, ниспровергать кумиров (любопытна в этом смысле их вражда с И.С. Тургеневым, завершившаяся гомосоциальным примирением много лет спустя. Ивана Сергеевича раздражали инфантильные и агрессивные потуги Толстого «выпендриться») любой ценой. Мэтр российской словесности не желал признавать литературных способностей новичка, а новичка это злило. Впрочем, они, в конце концов, поделили поляну и слились в дружеском *bruderschafte*), претендовать на знание «высших истин». Его разрыв с Православной Церковью означает *всего лишь* потугу претендовать на ее место, на замещение оной его собственной «моральной» позицией, на базе инфантильного муж-

ского желания быть *самым главным*, по-нынешнему, *крутым*. Не надо быть физиономистом, чтобы увидеть в этом костистом, широком русопятом лице с глубоко посаженными глазами амбициозного, бесчувственного и нелюбимого ученика в классе, с которым не дружат, но признают как выделяющегося персонажа.

Интимность гомосоциальной близости с Чертковым подкрепляется фактом отторжения Софьи Андреевны от дневников мужа, они переходят во владение к ненавистному сопернику. Много лет переписывание этих дневников давало Сонечке ощущение хоть какой-то близости к мужу. Отыгрывая женский сценарий, она хотя бы в этом видела смысл и значимость своей жизни. «Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: «Ну и терпи, что неприятно, если жил так безобразно». Сегодня же он ... начал говорить, что я ему делаю больно, ... что он хотел даже уничтожить эти дневники...» Дневники, разумеется, не были и не могли быть уничтожены. Тщеславие ВГВЧ не позволило бы никогда этого сделать. Ровно так же, как ханжеское воздержание отца Сергия понудило его отрубить (что бы вы думали?) палец. Палец-то в чем провинился?

Слияние в экстазе двух персонажей, двух половинок одной сугубо ханжеской позиции – Черткова и Толстого – естественным образом завершает отыгрывание женского сценария Сонечки. Процесс развивается по накатанным рельсам (ставшим могилой Анны Карениной, еще одной жертвы геноцида – т.е. уничтожения женщин – нашего гения). Левочка и Вовочка подпитывают друг друга восторгами отречения от плоти, отказом от денег и собственности, *духовным*, все более тесным сближением (у Черткова, впрочем, в это время многотысячное имение, с которым он не расстанется). Софья Андреевна (вполне обоснованно) мучается ревностью, поскольку десятки лет, отданные мужу, оказываются напрасными, а другого сценария, кроме женского, у нее в запасе не осталось. И поздние сожаления не могут ничего уже изменить. «Думала сегодня: отчего женщины не бывают гениальны? Нет ни писателей, ни живописцев, ни музыкальных композиторов. Оттого, что вся страсть, все способности энергической женщины уходят на семью, на любовь, на мужа, – а главное, на детей. Все прочие способности атрофируются, не развиваются, остаются в зачатке. Когда деторождение и воспитание кончается, то просыпаются художественные потребности, – но все уже опоздано, ничего нельзя в себе развить» (12.06.1898).

Лев Николаевич все дальше усугубляет свой «поворот к христианству» – желает отказаться от прав на собственные труды, дабы не иметь отношений с деньгами, забывая о существовании целого выводка детей и внуков, которым надо жить и кормиться. Ссорится с Софьей Андреевной по этому поводу, обвиняя ее в корысти и алчности, не забывая покушать отдельный вегетарианский обед. «Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям. Проповеди любви, добра внесли равнодушие к семье и вторжение всякого сброда в нашу семейную жизнь. Отречение (словесное) от

благ земных вносит осуждение и критику» (1-2.01.1895). Одновременно постоянно требует у жены денег на помощь голодающим, например. Но именно она организует сбор пожертвований и, вместе с детьми, создание общественных столовых. Левочка пишет статью «О голоде». «Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной *по принципу, а не по сердцу*» (26.01.91).

Женский сценарий, однако, неумолим. Высокая ответственность и чувство долга – характеристики сценария – не оставляют бедной Сонечке выбора. «Я спрашивала себя сегодня, отчего я так тягочусь работой переписывания для Льва Николаевича? Ведь это *несомненно* нужно. И я нашла ответ. Всякая работа требует интереса, насколько хорошо она сделана и, как и когда она будет окончена. Я шью что-нибудь, и вижу результат; меня интересует процесс работы, насколько скоро, хорошо или дурно я это делаю. Я учу – я вижу успехи; я играю сама – я двигаюсь, вдруг пойму новое, открою красоты. <...> В переписывании же в десятый раз одной и той же статьи ничего нет. Сделать хорошо тут ничего нельзя. Окончания не предвидишь никогда; все перестанавливается, и вновь, и вновь перетасовывается все одно и то же» (17.08.1897).

Ее собственная жизнь – как это прочитывается в дневниках – помимо бесконечного реестра о многочисленных болезнях детей, и, в основном, супруга, домашних обязанностях, клистирах, растираниях и диетах Глыбы, ссорах о *материальном и духовном* (читатели поняли, кому чего причитается) – заполнена наслаждением природой, размышлениями о прочитанном, музыкой, и отголосками девических мечтаний о свободе, увы, уже теперь невозможной. Выбор свободы для женщины, впрочем, тогда уже существовал, но Софья Андреевна к нему опоздала. Муж ей очень с этим помог. «Вчера вечером меня поразил разговор Л.Н. о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой *равноправности* женщины; вчера же он вдруг сказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством – у ней одна цель: половая любовь. Как она ее добьется, так все ее занятия летят прахом» (18.02.1898). Таким вот макарон наша Глыба переводил стрелки с пальца отца Сергия на *греховность* женской природы.

Вот теперь пора уж разобраться с глубинными, подсознательными мотивами нашего героя. Оставляя за кадром его писательские способности, не отрицая их, ибо плодовитый зануда с дидактической стойкой способен-таки сочинить дюжину оригинальных оборотов (которые можно выудить из Полного собрания сочинений – ПСС – в 90 (!) томах – ничего не упустил, кропотливый наш), имеет смысл поразмыслить над тем, что *позволило* Глыбе стать собственно Глыбой, Матерым Человечищем и Зеркалом Русской Революции. Ведь, если подумать, человек он был никудышный. Прежде всего, зануда, тщеславный, впрочем. В молодости страшно восхищался (сиречь, завидовал) легкости пера АСа Пушкина, но, по вполне понятным причинам, как оный ас писать не мог и

не смог бы – душа деревянная. Однако, снедаемая тщеславием душа жаждала мирового признания. Отсюда не оригинальный и известный всем прием – выделиться из толпы. Немало прыщавых юношей шли этой стезей, но Левушка (как вы помните – зануда), был основателем и последователем в своих притязаниях. Деяниями своими – носить мужицкую фланелевую рубаху с наборным пояском, шить сапоги (страшно, видимо, гордился этим умением), соху по полю протянуть, а тем более писаниями – о любви к *людям*, о любви вообще – удачно вписался он в контекст русской истории.

Он попал в нужное место и в нужное время. Ибо граф в крестьянской рубахе (сшитой руками используемой жены), пижон, в сущности, был весьма востребован в среде ханжествующей российской интеллигенции того времени, носившей ту же самую поддевку ханжества. Амбиции, являющиеся, в сущности, реализацией комплексов, на этой благодатной почве смогли воплотиться в проповедничество – можно было в тот момент учить мир уму-разуму, ибо перелом веков был, если помните, обилён поисками гуманистических обоснований для существования человечества, а наступление технологического прогресса, начавшееся в те времена, еще только вступило в стадию отрефлексирования мыслителями, деятелями и писателями того времени. И Левочка отлично вписался в контекст, изрекая, одновременно, что «Если женщина не христианка – она страшный зверь». (цит. Высказывания Л.Н.Т. из Дневников, 27.06.1898). Это тоже оказалось удачной позицией на тот момент, когда суфражистки, равноправки и эмансипе нависли угрожающей тенью над сытыми гомосоциальными ханжами евроазиатской культуры.

А что же бедная Сонечка? Ей суждено было вместить в себя всю мерзость и грязь, отходы производства нашего героя. Судьба ее, как судьба любой женщины за спиной «гения», остается непризнанной жертвой в мире *условных* ценностей. В мире, где женское противопоставлено мужскому. Безусловно, в той системе ценностей весовая категория Сонечки не могла перетянуть на весах истории 90 томов ПСС. В моей системе их вполне уравнивают 2 тома «Дневников».

Конечно же, будучи способным к рефлексии, осознавая постоянно в вытесненном уголке подсознания свою *зависимость*, Лев Николаевич унижал и отталкивал ее за то, что вынужден был принимать ее услуги, удовлетворять свою сексуальность с ее помощью, принимать от нее растирания, клистиры и лекарства. «Гению нужно создать мирную, веселую, удобную обстановку, гения надо накормить, умыть, одеть, надо переписать его произведения бесчисленное число раз, надо его любить, не дать поводов для ревности, чтоб он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно и нет времени, так как ему надо общаться с Эпиктетами, Сократами, Буддами и т.п., и надо самому стремиться быть ими.

И когда близкие домашнего очага, отдав молодость, силы, красоту – все на служение этих гениев, тогда их упрекают, что они не довольно *понимали гениев*, а сами гении и спасибо никогда не скажут...» (12.03.1900).

С годами Левочка становится все более желчным и противным. Проведя несколько месяцев в Крыму во время болезни, и вернувшись, обихожанный множеством врачей, он всячески хулит врачей и медицину. (Во время болезни трепетно соблюдал режим принятия лекарств, диету, предписания врачей – страшно боялся умереть). Весь этот период дневники Софьи Андреевны пестрят перечислением симптомов недомогания и процедур, его температурного графика, отмечаемого днем и ночью. Дальше, впав в старческий инфантилизм, он сочиняет злобные произведения против соперницы Церкви, вкладывая *истины* в уста чертей. Вот она, амбиция, вот оно – стремление ниспровергать кумиры. Софья Андреевна все еще наивно воспринимает его действия всерьез: «И я горячо, с волнением высказала свое негодование. Если мысли, вложенные в эту легенду (Легенда «Разрушение Ада и восстановление его»- 1892 г.) справедливы, то к чему нужно было нарядиться в дьявола с ушами, хвостами и черными телами? Не лучше ли семидесятилетнему старцу, к которому прислушивается весь мир, говорить словами апостола Иоанна, который в дряхлом состоянии, не будучи в силах говорить, твердил одно: «Дети, любите друг друга!»». (25.11.1902).

Маразм усугубляется. Он, дав, наконец-то, волю истинным чувствам, раздражается и кричит на жену при посторонних, обнажает клыки ненависти в набирающих обороты семейных ссорах. Усугубляется и гомосоциальная составляющая его мировоззрения. Чертков из секретаря и последователя становится «идолом». Развивается «любовная» интрига по геометрии треугольника. Сонечка ревнует Левочку к Черткову, Чертков – разлучник и искуситель, попутно Тартюфф, мимоходом подгребает к себе дневники Левочки, стареющий и дряхлеющий Левочка чувствует себя с Чертковым в большей безопасности и доверяется ему безраздельно. В этом феерическом сценарии присутствуют тайные встречи, скрывааемые беседы, обман, интрига и финальное крешендо.

Крешендо! Усталый, старый, маразматический гуманист, ой, пардон, – Великое Зеркало Русской Глыбы Матерого Человечища, – освобожденный, наконец-то маразмом от ханжества и рефлексии совершает по-настоящему искренний и геройский поступок (я не шучу!). Он уходит из дома! Он, наконец-то, признается – этим самым действием во всех своих пороках – ханжества и сладострастия, навязанного ему той системой ценностей и той культурой, в которой он не только жил, но, в отличие от чуждой этой гомосоциальной культуре, Сонечки, в которую он, барсик, верил!!! Он отринул эти мерзкие вериги животного супружества. Он покатил в «последний путь», окруженный сонмом сладшавых последователей, нечесаных и немых посконных почитателей в толстовках (некоему подобию нынешних голубых и красных шарфиков «Зенитов-

цев» и «Спартаковцев»), которые «искренне» волновались за смерть – не за жизнь – гуру. Ибо о жизни речь не шла. Не шла уже давно.. Речь шла, если честно, о высекаемой в камне «фигуре Истины», фигуре «Гения», изначально заявленной в «Детстве», «Отрочестве», «Юности», первых шагах Великого Писателя (ВП). Поэтому нужно было им всем присутствовать именно при Смерти. Чтобы приобщиться. Жаль, что даже смерть не несет в себе характера вечности. Всего лишь светское мероприятие. И тут Левочка оплошал. Он надеялся, что красивый «уход» создаст ему вечную славу.

По мне же, паскуднее ухода не было. Упоминания о его кончине в описании многих биографов стыдливо замалчивают детали отлучения Сонечки от его смертного одра. Он прогнал ее при огромном стечении народа – в проблесках затухающего сознания последним его порывом была ненависть, неспособность примириться и простить (что бы ни было там прощать).

На станции Астапово, где слег он последней смертной болезнью, вокруг него толпилось много «темных», чужих, посторонних. И «темные», посторонние, подсуетились, чтобы смерть «гения» *состоялась* так, как они сочли нужным. С песнопениями, старцами, религиозной истерикой и прочей белибердой.

Дальше – тишина.

Оставлю, впрочем, последнее слово за Софьей Андреевной. «Боже мой! Боже мой! Прожили всю жизнь вместе; всю любовь, всю молодость я отдала Л.Н. Результат нашей жизни, что я боюсь его! Боюсь, не быв ни в чем пред ним виноватой! <...> Уже то, что он в дневниках своих последовательно и умно чернил меня, короткими ехидными штрихами очерчивая одни только мои слабые стороны, доказывает, как умно он себе делает венец мученика, а мне бич Ксантиппы!

Господи! Ты нас один рассудишь!»

Судите сами, дамы, ... впрочем, и господа.

Ольга Липовская.

13.08.2002.